

ничего ему не присылала, и однако он бывал иногда при деньгах; по крайней мере мы имеем право подозревать, что эти деньги он получал от русского правительства».

В заключение должен сказать вам, милостивый государь, что все подробности биографии Бакунина, начиная с 1848 года, я знаю только по рассказам нескольких немцев и по газетам. Последнее виденное мною письмо от него было написано в начале 1850 года в Градчине (крепость в Праге). Со времени его отправления в Ольмюц ничто не могло просочиться. Один из камергеров прусского короля хвалился как-то за табльдотом в Женеве, что он *пошел посмотреть* на Бакунина в Ольмюце (не из сочувствия, а как на достопримечательность); он говорил, что нашел его прикованным к стене, в маленькой темной камере, что Бакунин был слаб, болен и что голос его казался угасшим.

Из Ольмюца Бакунин был перевезен в сырую тюрьму в Венгрии и оттуда, как нам пишут, в Шлиссельбург. Говорят что там его подвзглы пытке.

Александр Герцен (Искандер).

P. S. Находясь в Кенигштейне, Бакунин выпустил в свет на немецком языке маленькую, очень энергичную брошюру о России под названием «Russische Zustände»*.

<1851>

М. Бакунин и польское дело

В конце ноября мы получили от Бакунина следующее письмо¹:
 «15 октября 1861. С.-Франсиско. Друзья, мне удалось бежать из Сибири, и, после долгого странствования по Амуру, по берегам Татарского пролива и через Японию, сегодня прибыл я в Сан-Франсиско.

Друзья, всем существом стремлюсь я к вам и, лишь только примусь за дело: буду у вас служить по *польско-славянскому* вопросу, который был моей *idée fixe* с 1846 года и моей *практической специальностью* в 48 и 49 годах. Разрушение,

* «Положение России» (нем.).

полное разрушение Австрийской империи будет моим последним словом; не говорю — делом: это было бы слишком честолюбиво; для служения ему я готов идти в барабанщики или даже в прохвосты, и, если мне удастся хоть на волос подвинуть его вперед, я буду доволен. А за ним является *славная* вольная *славянская* федерация, единственный исход для России, Украины, Польши и вообще для славянских народов...»

О его намерении уехать из Сибири мы знали несколько месяцев прежде.

К Новому году явилась и собственная пышная фигура Бакунина в наших объятиях.

В нашу работу, в наш замкнутый двойной союз взошел новый элемент, или, пожалуй, элемент старый, воскресшая тень сороковых годов и всего больше 1848 года. Бакунин был тот же, он состарился только телом, дух его был молод и восторжен, как в Москве во время «всенощных» споров с Хомяковым²; он был так же предан одной идее, так же способен увлекаться, видеть во всем исполнение своих желаний и идеалов и еще больше готов на всякий опыт, на всякую жертву, чувствуя, что жизни вперед остается не так много и что, следственно, надобно торопиться и не пропускать ни одного случая. Он тяготился долгим изучением, взвешиванием pro и contra и рвался, доверчивый и отвлеченный, как прежде, к делу, лишь бы оно было среди бурь революций, среди разгрома и грозной обстановки*. Он и теперь, как в статьях Жюль Элизара³, повторял: «Die Lust der Zerstörung ist eine schaffende Lust»⁴. Фантазии и идеалы, с которыми его заперли в Кенигштейне⁵ в 1849 году, он сберег и привез их через Японию и Калифорнию в 1861 году во всей целости. Даже язык его напоминал лучшие статьи «Реформы» и «Vraie République», резкие речи de la Constituante⁶ и клуба Бланки⁷. Тогдашний дух партий, их исключительность, их симпатии и антипатии к лицам и пуще всего их вера в близость второго пришествия революции — все было налицо.

Тюрьма и ссылка необыкновенно сохраняют сильных людей, если не тотчас их губят; они выходят из нее, как из обморока, продолжая то, на чем они лишились сознания. Декабристы возвратились из-под сибирского снега моложе потоптанной на корню молодежи, которая их встретила. В то время как два поколения французов несколько раз менялись, краснели и бледнели, поднимаемые приливами и уносимые назад отливами, Барбес⁸ и Бланки

* О Бакунине в IV «Былого и дум», в главе «Сазонов».

остались бессменными маяками, напоминавшими из-за тюремных решеток, из-за чужой дали прежние идеалы во всей чистоте.

«Польско-славянский вопрос... разрушение Австрийской империи... вольная славянская и *славная* федерация...» И все это сейчас, как только он приедет в Лондон... и пишется из С.-Франсиско — одна нога в корабле!

Европейская реакция не существовала для Бакунина, не существовали и тяжелые годы от 1848 до 1858 года — они ему были известны вкратце, издавека, слегка. Он их *прочел* в Сибири — так, как читал в Кайданове о Пунических войнах и о падении Римской империи. Как человек, возвратившийся после мора, он слышал, кто умер, и вздохнул об них обо всех; но он не сидел у изголовья умирающих, не надеялся на их спасение, не шел за их гробом. Совсем напротив, события 1848 года были возле, близки к сердцу, подробные и живые... разговоры с Косидьером⁹, речи славян на Пражском съезде¹⁰, споры с Араго¹¹ или Руге — все это было для Бакунина вчера, звенело в ушах, мелькало перед глазами.

Впрочем, оно и, сверх тюрьмы, немудрено.

Первые дни после Февральской революции были лучшими днями жизни Бакунина. Возвратившись из Бельгии, куда его вытурил Гизо¹² за его речь на польской годовщине 29 ноября 1847 года¹³, он с головой нырнул во все тяжкие революционного моря. Он не выходил из казарм монтаньяров, ночевал у них, ел с ними... и проповедовал... все проповедовал: коммунизм et l'égalité du salaire¹⁴, нивелирование во имя равенства, освобождение всех славян, уничтожение всех Австрий, революцию en permanence¹⁵, войну до избиения последнего врага. Префект с баррикад, делавший «порядок из беспорядка», Косидьер не знал, как выжить дорогого проповедника, и придумал с Флоконом¹⁶ отправить его в самом деле к славянам¹⁷ с братской акколадой¹⁸ и уверенностью, что он там себе сломит шею и мешать не будет. «*Quel homme! Quel homme!*»¹⁹, — говорил Косидьер о Бакунине. — В первый день революции это просто клад, а на другой день надобно расстрелять»*.

Когда я приехал в Париж из Рима, в начале мая 1848 года, Бакунин уже витийствовал в Богемии, окруженный староверческими монахами, чехами, кроатами, демократами, и витийствовал до тех

* «— Скажите Косидьеру, — говорил я шутя его приятелям, — что тем-то Бакунин и отличается от него, что и Косидьер славный человек, но что его лучше бы расстрелять накануне революции. Впоследствии, в Лондоне в 1854 году, я ему помянул об этом. Префект в изгнании только ударял огромным кулаком своим в молодецкую грудь с той силой, с которой вбивают сваи в землю, и говорил: “Здесь ношу Бакунина... здесь!”»

пор, пока князь Виндишгрец не положил пушками предел красноречия (и не воспользовался хорошим случаем, чтоб по сей верной оказии не подстрелить невзначай своей жены)²⁰. Исчезнув из Праги, Бакунин является военным начальником Дрездена; бывший артиллерийский офицер учит военному делу поднявших оружие профессоров, музыкантов и фармацевтов... советует им «Мадонну» Рафаэля и картины Мурильо поставить на городские стены и ими защищаться от пруссаков, которые *zu klassisch gebildet*²¹, чтоб осмелились стрелять по Рафаэлю.

Артиллерия ему вообще помогала. По дороге из Парижа в Прагу он наткнулся где-то в Германии на возмущение крестьян, — они шумели и кричали перед замком, не умея ничего сделать. Бакунин вышел из повозки и, не имея времени узнать, в чем дело, построил крестьян и так ловко научил их, что, когда пошел садиться в повозку, чтоб продолжать путь, замок пылал с четырех сторон.

Бакунин когда-нибудь переломит свою лень и сдержит обещание: он когда-нибудь расскажет длинный мартиролог, начавшийся для него после взятия Дрездена. Напомню здесь главные черты. Бакунин был приговорен к эшафоту. Король саксонский заменил топор вечной тюрьмой, потом, без всякого основания, передал его в Австрию. Австрийская полиция думала от него узнать что-нибудь о славянских замыслах. Бакунина посадили в Градчин и, ничего не добившись, отослали его в Ольмюц. Бакунина, скованного, везли под сильным конвоем драгун; офицер, который <сел> с ним в повозку, зарядил при нем пистолет.

— Это для чего же? — спросил Бакунин. — Неужели вы думаете, что я могу бежать при этих условиях?

— Нет, но вас могут отбить ваши друзья; правительство имело насчет этого слухи, и в таком случае...

— Что же?

— Мне приказано посадить вам пулю в лоб.

И товарищи поскакали.

В Ольмюце Бакунина *приковали к стене*, и в этом положении он пробыл *полгода*. Австрии наконец наскучило даром кормить чужого преступника; она предложила России его выдать; Николаю вовсе не нужно было Бакунина, но отказаться он не имел сил. На русской границе с Бакунина сняли цепи — об этом акте милосердия я слышал много раз; действительно, цепи с него сняли, но рассказчики забыли прибавить, что зато надели другие, гораздо тяжелее. Офицер австрийский, сдавши арестанта, потребовал цепи как казенную к.-к.²² собственность.

Николай похвалил храброе поведение Бакунина в Дрездене и посадил его в Алексеевский рavelин. Туда он прислал к нему Орлова²³ и велел ему сказать, что он желает от него записку о немецком и славянском движении (монарх не знал, что все подробности его были напечатаны в газетах). Записку эту он требовал «не как царь, а как духовник». Бакунин спросил Орлова, как понимает государь слово «духовник»: в том ли смысле, что все сказанное на духу должно быть святой тайной? Орлов не знал, что сказать, — эти люди вообще больше привыкли спрашивать, чем отвечать. Бакунин написал²⁴ журнальный *leading article*²⁵. Николай и этим был доволен. «Он умный и хороший малый, но опасный человек, его надобно держать назаперти», и *три целых года* после этого высочайшего одобрения Бакунин был схоронен в Алексеевском рavelине. Содержание, должно быть, было хорошо, когда и этот гигант изнемогал до того, что хотел лишиться себя жизни. В 1854 году Бакунина перевели в Шлюссельбург. Николай боялся, что Чарльз Непир²⁶ его освободит, но Чарльз Непир и С-nie освободили не Бакунина от рavelина, а Россию от Николая. Александр II, несмотря на припадок милостей и великодуший, оставил Бакунина в крепости до 1857 года, потом послал его на житье в Восточную Сибирь. В Иркутске он очутился на воле после девятилетнего заключения. Начальником края был там, на его счастье, оригинальный человек, демократ и татарин, либерал и деспот, родственник Михайлы Бакунина и Михайлы Муравьева и сам Муравьев, тогда еще не Амурский²⁷. Он дал Бакунину вздохнуть, возможность человечески жить, читать журналы и газеты, и сам мечтал с ним... о будущих переворотах и войнах. В благодарность Муравьеву Бакунин в голове назначил его главнокомандующим будущей земской армией, назначаемой им, в свою очередь, на уничтожение Австрии и учреждение славянского союзничества.

В 1860 году мать Бакунина просила государя о возвращении сына в Россию; государь сказал, что «при жизни его Бакунина из Сибири не переведут», но, чтоб и она не осталась без утешенья и царской милости, он разрешил ему *вступить в службу писцом*. Тогда Бакунин, взяв в расчет красные щеки и сорокалетний возраст императора, решился бежать; я его в этом совершенно оправдываю. Последние годы лучше всего доказывают, что ему нечего в Сибири было ждать. Девяти лет каземата и нескольких лет ссылки было за глаза довольно. Не от его побега, как говорили, стало хуже политическим сосланным, а от того, что времена стали хуже, люди стали хуже. Какое влияние имел побег Бакунина на гнусное преследование, добивание Михайлова?²⁸ А что какой-ни-

будь Корсаков получил выговор...²⁹ об этом не стоит и говорить. Жаль, что не два.

Бегство Бакунина замечательно пространствами, это самое длинное бегство в географическом смысле. Пробравшись на Амур под предлогом торговых дел, он уговорил какого-то американского шкипера взять его с собой к японскому берегу. В Гакодади (?) другой американский капитан взялся его довести до С.-Франсиско. Бакунин отправился к нему на корабль и застал моряка, сильно хлопотавшего об обеде; он ждал какого-то почетного гостя и пригласил Бакунина. Бакунин принял приглашение и, только когда гость приехал, узнал, что это генеральный русский консул.

Скрываться было поздно, опасно, смешно... он прямо вступил с ним в разговор, сказал, что отпросился сделать прогулку. Небольшая русская эскадра, помнится, адмирала Попова³⁰, стояла в море и собиралась плыть к Николаеву.

— Вы не с нашими ли возвращаетесь? — спросил консул.

— Я только что приехал, — отвечал Бакунин, — и хочу еще посмотреть край.

Вместе покушавши, они разошлись en bons amis³¹. Через день он проплыл на американском пароходе мимо русской эскадры... Кроме океана, опасности больше не было.

Как только Бакунин огляделся и учредился в Лондоне, т. е. перезнакомился со всеми поляками и русскими, которые были налицо, он принялся за дело. С страстью проповедования, агитации... пожалуй, демагогии, с непрерывными усилиями учреждать, устраивать комплоты, переговоры, заводить сношения и придавать им огромное значение у Бакунина прибавляется готовность первому идти на исполнение, готовность погибнуть, отвага принять все последствия. Это натура героическая, оставленная историей не у дел. Он тратил свои силы иногда на вздор, так, как лев тратит шаги в клетке, все думая, что выйдет из нее. Но он не ритор, боящийся исполнения своих слов или уклоняющийся от осуществления своих общих теорий...

Бакунин имел много недостатков. Но недостатки его были мелки, а сильные качества — крупны. Разве это одно не великое дело, что, брошенный судьбою куда б то ни было и схватив двести черты окружающей среды, он отделял революционную струю и тотчас принимался вести ее далее, раздувать, делая ее страстным вопросом жизни?

Говорят, будто И. Тургенев³² хотел нарисовать портрет Бакунина в Рудине... но Рудин едва напоминает некоторые черты Бакунина. Тургенев, увлекаясь библейской привычкой бога, создал Рудина

по своему образу и подобию; Рудин — Тургенев 2-й, наслушавшийся философского жаргона молодого Бакунина.

В Лондоне он, во-первых, стал *революционировать* «Колокол»³³ и говорил в 1862 году против нас почти то, что говорил в 1847 году про Белинского. Мало было пропаганды, надобно было неминуемое приложение, надобно было устроить центры, комитеты; мало было близких и дальних людей, надобны были «посвященные и полупосвященные братья», организация в крае, — славянская организация, польская организация. Бакунин находил нас умеренными, не умеющими пользоваться тогдашним положением, недостаточно любящими решительные средства. Он, впрочем, не унывал и верил, что в скором времени поставит нас на путь истинный. В ожидании нашего обращения Бакунин сгруппировал около себя целый круг славян. Тут были чехи, от литератора Фрича³⁴ до музыканта, называвшегося Наперстком, сербы, которые просто величались по батюшке — Иоанович, Данилович, Петрович; были валахи, состоявшие в должности славян, с своим вечным *еско* на конце; наконец, был болгар, лекарь в турецкой армии, и поляки всех епархий... бонапартовской, мерославской, чарторижской... демократы без социальных идей, но с офицерским оттенком; социалисты-католики, анархисты-аристократы и просто солдаты, хотевшие где-нибудь подраться, в Северной или Южной Америке... и преимущественно в Польше.

Отдохнул с ними Бакунин за девятилетнее молчание и одиночество. Он спорил, проповедовал, распоряжался, кричал, решал, направлял, организовывал и ободрял целый день, целую ночь, целые сутки. В короткие минуты, остававшиеся у него свободными, он бросался за свой письменный стол, расчищал небольшое место от золы и принимался писать — пять, десять, пятнадцать писем в Семипалатинск и Арад, в Белград и Царьград, в Бессарабию, Молдавию и Белокриницу. Середь письма он бросал перо и приводил в порядок какого-нибудь отсталого далмата... и, не кончивши своей речи, схватывал перо и продолжал писать, что, впрочем, для него было облегчено тем, что он писал и говорил об одном и том же. Деятельность его, праздность, аппетит и все остальное, как гигантский рост и вечный пот, — все было не по человеческим размерам, как он сам; а сам он — исполин с львиной головой, с всклокоченной гривой.

В пятьдесят лет он был решительно тот же кочующий студент с Маросейки, тот же бездомный *bohème* с rue de Bourgogne³⁵; без заботы о завтрашнем дне, пренебрегая деньгами, бросая их, когда есть, занимая их без разбора направо и налево, когда их нет, с той

простотой, с которой дети берут у родителей — без заботы об уплате, с той простотой, с которой он сам <готов> отдать всякому последние деньги, отделив от них что следует на сигареты и чай. Его этот образ жизни не теснил; он родился быть великим бродягой, великим бездомовником. Если б его кто-нибудь спросил окончательно, что он думает о праве собственности, он мог бы сказать то, что отвечал Лаланд³⁶ Наполеону о боге: «Sire, в моих занятиях я не встречал никакой необходимости в этом праве!»

В нем было что-то детское, беззлобное и простое, и это придавало ему необычайную прелесть и влекло к нему слабых и сильных, отталкивая одних чопорных мещан*.

Как он дошел до женитьбы, я могу только объяснить сибирской скукой. Он свято сохранил все привычки и обычаи *родины*, т. е. студентской жизни в Москве, — груды табаку лежали на столе вроде приготовленного фуража, зола сигар под бумагами и недопитыми стаканами чая... с утра дым столбом ходил по комнате от целого хора курильщиков, куривших точно взапуски, торопясь, задыхаясь, затыгиваясь, словом, так, как курят одни русские и славяне. Много раз наслаждался я удивлением, сопровождавшимся некоторым ужасом и замешательством, хозяйской горничной Гресс, когда она глубокой ночью приносила пятую сахарницу сахару и горячую воду в эту готовальню славянского освобождения.

Долго после отъезда Бакунина из Лондона — № 10 Paddington green — рассказывали об его житье-бытье, ниспровергнувшем все упроченные английскими мещанами понятия и религиозно принятые ими размеры и формы. Заметьте при этом, что горничная и хозяйка без ума любили его.

— Вчера, — говорит Бакунину один из его друзей, — приехал такой-то из России; прекраснейший человек, бывший офицер...

— Я слышал об нем, его очень хвалили.

— Можно его привести?

— Непременно, да что привести! Где он? Сейчас!

— Он, кажется, несколько конституционалист.

— Может быть, но...

— Но, я знаю, рыцарски отважный и благородный человек.

— И верный?

— Его очень уважают в Orsett House'e³⁷.

* Когда в споре Бакунин, увлекаясь, с громом и треском обрушивал на голову противника облаву брани, которой бы никому не простили, Бакунину прощали, и я первый. Мартьянов, бывало, говаривал: «Это, Александр Иванович, — большая Лиза, как же на нее сердиться — дитя!».

— Идем.

— Куда же? Ведь он хотел к вам прийти, мы так сговорились — я его приведу.

Бакунин бросается писать; пишет, кой-что перемарывает, переписывает и надписывает в Яссы, запечатывает пакет и в беспокойстве ожидания начинает ходить по комнате ступней, от которой и весь дом 10 № Paddington green ходит ходнем с ним вместе.

Является офицер — скромно и тихо. Бакунин le met à l'aise³⁸, говорит, как товарищ, как молодой человек, увлекает, журит за конституционализм и вдруг спрашивает:

— Вы, наверно, не откажетесь сделать что-нибудь для общего дела?..

— Без сомнения...

— Вас здесь ничего не удерживает?..

— Ничего; я только что приехал... я...

— Можете вы ехать завтра, послезавтра с этим письмом в Яссы?

Этого не случилось с офицером ни в действующей армии во время войны, ни в генеральном штабе во время мира, однако, привыкнувший к военному послушанию, он, помолчавши, говорит не совсем своим голосом:

— О, да!

— Я так и знал. Вот письмо совсем готовое.

— Да я хоть сейчас... только... — офицер конфузится, — ...я никак не рассчитывал на эту поездку.

— Что? Денег нет? Ну, так и говорите. Это ничего не значит. Я возьму для вас у Герцена — вы ему потом отдадите. Что тут... всего... всего какие-нибудь 20 liv. Я сейчас напишу ему. В Яссах вы деньги найдете. Оттуда проберитесь на Кавказ. Там нам особенно нужен верный человек...

Пораженный, удивленный офицер и его сопутник, пораженный и удивленный, как и он, уходят. Маленькая девочка, бывшая у Бакунина на больших дипломатических посылках, летит ко мне по дождю и слякоти с запиской. Я для нее нарочно завел шоколад en losange³⁹, чтоб чем-нибудь утешить ее в климате ее отечества, а потому даю ей большую горсть и прибавляю:

— Скажите высокому gentleman'у, что я лично с ним переговорю.

Действительно, переписка оказывается излишней: к обеду, т. е. через час, является Бакунин.

— Зачем двадцать фунтов для **?

— Не для него, для дела... а что, брат, ** — прекраснейший человек!

— Я его знаю несколько лет — он бывал прежде в Лондоне.

— Это такой случай... пропустить его грешно, я его посылаю в Яссы. Да потом он осмотрит Кавказ!

— В Яссы?.. И оттуда на Кавказ?

— Ты пойдешь сейчас острить... Каламбурами ничего не докажешь...

— Да ведь тебе ничего не нужно в Яссах.

— Ты почему знаешь?

— Знаю потому, во-первых, что никому ничего не нужно в Яссах, а во-вторых, если б нужно было, ты неделю бы постоянно мне говорил об этом. Тебе попался человек, молодой, застенчивый, хотящий доказать свою преданность, — ты и придумал послать его в Яссы. Он хочет видеть выставку — а ты ему покажешь Молдовалахию. Ну, скажи-ка, зачем?

— Какой любопытный. Ты в эти дела со мной не входишь — какое же ты имеешь право спрашивать?

— Это правда, я даже думаю, что этот секрет ты скроешь ото всех... ну, а только денег давать на гонцов в Яссы и Букарест я нисколько не намерен.

— Ведь он отдаст — у него деньги будут.

— Так пусть умнее употребит их; полно, полно — письмо пошлешь с каким-нибудь Петреско-Манон-Леско, а теперь пойдём есть.

И Бакунин, сам смеясь и качая головой, которая его все-таки перетягивала, внимательно и усердно принимался за труд обеда, после которого всякий раз говорил: «Теперь настала счастливая минута» — и закуривал папироску.

Бакунин принимал всех, всегда, во всякое время. Часто он еще, как Онегин, спал или ворочался на постели, которая хрустела, а уж два-три славянина с отчаянной торопливостью курили в его комнате; он тяжело вставал, обливался водой и в ту же минуту принимался их поучать; никогда не скучал он, не тяготился ими; он мог не уставая говорить со свежей головой с самым умным и самым глупым человеком. От этой неразборчивости выходили иногда пресмешные вещи.

Бакунин вставал поздно — нельзя было иначе и сделать, употребляя ночь на беседу и чай.

Раз, часу в одиннадцатом, слышит он, кто-то копошится в его комнате. Постель его стояла в большом алькове, задернутом занавесью.

— Кто там? — кричит Бакунин, просыпаясь.

— Русский.

- Ваша фамилия?
- Такой-то.
- Очень рад.
- Что вы это так поздно встаете — а еще демократ...
...Молчание... слышен плеск воды... каскады.
- Михаил Александрович!
- Что?
- Я вас хотел спросить: вы венчались в церкви?
- Да.
- Нехорошо сделали. Что за образец непоследовательности — вот и Тургенев свою дочь прочит замуж. Вы, старики, должны нас учить... примером.
- Что вы за вздор несете...
- Да вы скажите, по любви женились?
- Вам что за дело?
- У нас был слух, что вы женились оттого, что невеста ваша была богата*.
- Что вы это — допрашивать меня пришли. Ступайте к черту!
- Ну, вот вы и рассердились — а я, право, от чистой души. Прощайте. А я все-таки зайду.
- Хорошо, хорошо — только будьте умнее.
- ...Между тем польская гроза приближалась больше и больше. Осенью 1862 года явился на несколько дней в Лондоне Потенбня⁴⁰. Грустный, чистый, беззаветно отдавшийся урагану, он приезжал поговорить с нами от себя и от товарищей и — все-таки идти своей дорогой. Чаще и чаще являлись поляки из края: их язык был определеннее и резче, они шли к взрыву — прямо и сознательно. Мне с ужасом мерещилось, что они идут в неминуемую гибель.
- Смертельно жаль Потенбню и его товарищей, — говорил я Бакунину, — и тем больше, что вряд по дороге ли им с поляками...
- По дороге, по дороге, — возражал Бакунин. — Не сидеть же нам вечно сложа руки и рефлектируя. Историю надобно принимать как представляется, не то всякий раз будешь зауряд то позади, то впереди.
- Бакунин помолодел — он был в своем элементе. Он любил не только рев восстания и шум клуба, площадь и баррикады — он любил также и подготовительную агитацию, эту возбужденную и вместе с тем задержанную жизнь конспираций, консультаций, неспяных ночей, переговоров, договоров, ректификаций⁴¹, шифров, химических чернил и условных знаков. Кто из участников

* Бакунин ничего не взял за невестой.

не знает, что репетиции к домашнему спектаклю и приготовление елки составляют одну из лучших и изящных частей. Но как он ни увлекался приготовлениями елки, у меня на сердце скреблись кошки — я постоянно спорил с ним и нехотя делал не то, что хотел. <...>

Бакунин верил в возможность военно-крестьянского восстания в России, верили отчасти и мы, да *верило и само правительство* — как оказалось впоследствии рядом мер, статей по казенному заказу и казней по казенному приказу. Напряжение умов, брожение умов было неоспоримо, и никто не предвидел тогда, что его свернут на свирепый патриотизм.

Бакунин, не слишком останавливаясь на взвешивании всех обстоятельств, смотрел на одну дальнюю цель и принял второй месяц беременности за девятый. Он увлекал не доводами, а желанием. Он *хотел* верить и верил, что Жмудь и Волга, Дон и Украина восстанут, как один человек, услышав о Варшаве; он верил, что наш старовер воспользуется католическим движением, чтоб узаконить раскол.

В том, что между офицерами войск, расположенных в Польше и Литве, общество, к которому принадлежал Потешня, росло и крепло, — в этом сомнения не могло быть; но оно далеко не имело той силы, которую ему преднамеренно придавали поляки и наивно Бакунин...

Как-то в конце сентября пришел ко мне Бакунин особенно озабоченный и несколько торжественный.

— Варшавский Центральный комитет, — сказал он, — прислал двух членов, чтоб переговорить с нами. Одного из них ты знаешь — это Падлевский⁴²; другой — Гиллер⁴³, закаленный боец, — он из Польши прогулялся в кандалах до рудников и, только что возвратился, снова принялся за дело⁴⁴. Сегодня вечером я их приведу к вам, а завтра соберемся у меня — надобно *окончательно определить наши отношения*.

Тогда набирался мой ответ⁴⁵ офицерам*.

— Моя программа готова — я им прочту мое письмо.

— Я согласен с твоим письмом, ты это знаешь... но не знаю, все ли понравится им; во всяком случае, я думаю, что этого им будет мало.

Вечером Бакунин пришел с тремя гостями вместо двух⁴⁶. Я прочел мое письмо. Во время разговора и чтения Бакунин сидел встревоженный, как бывает с родственниками на экзамене или

* «Колокол», 1862.

с адвокатами, трепещущими, чтоб их клиент не проврался бы и не испортил бы всей *игры защиты*, хорошо налаженной если не по всей правде, то к успешному концу.

Я видел по лицам, что Бакунин угадал и что чтение не то чтоб особенно понравилось.

— Прежде всего, — заметил Гиллер, — мы прочтем письмо к вам от Центрального комитета.

Читал М<илович>⁴⁷; документ этот, известный читателям «Колокола»⁴⁸, *был написан по-русски* — не совсем правильным языком, но ясно. Говорили, что я его перевел с французского и переиначил, — *это неправда*. Все трое говорили хорошо по-русски.

Смысл акта состоял в том, чтоб через нас сказать русским, что слагающееся польское правительство согласно с нами и кладет в основание своих действий *«признание <права> крестьян на землю, обрабатываемую ими, и полную самоправность всякого народа располагать своей судьбой»*. Это заявление, говорил М., обязывало меня смягчить вопросительную и «сомневающуюся» форму в моем письме. Я согласился на некоторые перемены и предложил им с своей стороны посильнее оттенить и яснее высказать мысль об самозаконности провинций — они согласились. Этот спор из-за слов показывал, что сочувствие наше к одним и тем же вопросам не было *одинаково*.

На другой день утром Бакунин уже сидел у меня. Он был недоволен мной, находил, что я слишком холоден, как будто не доверяю.

— Чего же ты больше хочешь? Поляки никогда не делали таких уступок. — Они выражаются другими словами, принятыми у них, как катехизис; нельзя же им, подымая национальное знамя, на первом шаге оскорбить раздражительное народное чувство...

— Мне все кажется, что им до крестьянской земли, в сущности, мало дела, а до провинций слишком много.

— Любезный друг, у тебя в руках будет документ, поправленный тобой, подписанный при всех нас, чего же тебе еще?

— Есть-таки кое-что.

— Как для тебя труден каждый шаг — ты вовсе не практический человек.

— Это уже прежде тебя говорил Сазонов⁴⁹.

Бакунин махнул рукой и пошел в комнату к Огареву. Я печально смотрел ему вслед; я видел, что он запил свой революционный запой и что с ним не столкнешь теперь. Он шагал семимильными сапогами через горы и моря, через годы и поколения. За восстанием в Варшаве он уже видел свою «славную и славянскую» федерацию, о которой поляки говорили не то с ужасом, не то с отвращением... он

уже видел красное знамя «Земли и воли» развевающимся на Урале и Волге, на Украине и Кавказе, пожалуй, на Зимнем дворце и Петропавловской крепости — и *торопился* сгладить *как-нибудь* затруднения, затушевать противуречия, не выполнить овраги, а бросить через них *чертов мост*.

— Ты точно дипломат на Венском конгрессе, — повторял мне с досадой Бакунин, когда мы потом толковали у него с представителями жонда, — придираешься к словам и выражениям. Это — не журнальная статья, не литература.

— С моей стороны, — заметил Гиллер, — я из-за слов спорить не стану; меняйте, как хотите, лишь бы главный смысл остался тот же.

— Bravo, Гиллер! — радостно воскликнул Бакунин.

«Ну, этот, — подумал я, — *приехал подкованный и по-летнему и на шипы*, он ничего не уступит на деле и оттого так легко уступает все на словах».

Акт поправили, члены жонда подписались, я его послал в типографию.

Гиллер и его товарищи были убеждены, что мы представляли заграничное средоточие целой организации, зависящей от нас и которая по нашему приказу примкнет к ним или нет. Для них действительно дело было *не в словах* и не в теоретическом согласии, свое *profession de foi*⁵⁰ они всегда могли оттенить толкованиями — так, что его яркие цвета пропали бы, полиняли и изменились.

Что в России клались первые ячейки *организации*, в этом не было сомнения — первые волокны, нити были заметны простому глазу; из этих нитей, узлов *могла* образоваться при тишине и времени обширная ткань — все это так, *но ее не было*, и каждый сильный удар грозил сгубить работу на целое поколение и разорвать начальные кружева паутины.

Вот это-то я и сказал, отправив печатать письмо Комитета, Гиллеру и его товарищам, говоря им о несвоевременности их востания. Падлевский слишком хорошо знал Петербург, чтоб удивиться моим словам, хотя и *уверял меня*, что сила и разветвления общества «Земли и воли» идут гораздо дальше, чем мы думаем; но Гиллер призадумался.

— Вы думали, — сказал я ему, улыбаясь, — что мы сильнее... Да, Гиллер, вы не ошиблись: сила у нас есть большая и деятельная, но сила эта вся утверждается на общественном мнении, т. е. она может сейчас улечься; мы сильны *сочувствием* к нам, унисоном с своими. Организации, которой бы мы сказали: «Иди направо или налево», — *нет*.

— Да, любезный друг... однако же... — начал Бакунин, ходивший в волнении по комнате.

— Что же, разве *есть*? — спросил я его и остановился.

— Ну, это как ты хочешь назвать; конечно, если взять внешнюю форму... это совсем не в русском характере... Да видишь...

— Позволь же мне кончить — я хочу пояснить Гиллеру, почему я так настаивал на слова. Если в России на вашем знамени не увидят *надел земли и волю провинциям*, то наше сочувствие *вам не принесет никакой пользы, а нас погубит*... потому что вся наша сила в одинаковом биении сердца; у нас оно, может, бьется посильнее и потому ушло секундой вперед, чем у друзей наших, но они связаны с нами сочувствием, а не службой!

— Вы будете нами довольны, — говорили Гиллер и Падлевский.

Через день двое из них отправились в Варшаву, третий уехал в Париж⁵¹.

* * *

Наступило затишье перед грозой. Время томное, тяжелое, в которое все казалось, что туча пройдет, а она все приближалась; тут явился указ о «подтасованном» наборе⁵² — это была последняя капля⁵³; люди, еще останавливавшиеся перед решительным и невозвратным шагом, рвались на бой<...> Теперь и *белые* стали переходить на сторону движенья⁵⁴.

Приехал опять Падлевский. Подождали дни два. Набор не отменялся. Падлевский уехал в Польшу.

Бакунин собирался в Стокгольм (совершенно независимо от экспедиции Лапинского⁵⁵, о которой тогда никто не думал). Мельком <явился> Потевня и исчез вслед за Бакуниным⁵⁶.

В то же время, как Потевня, приехал через Варшаву из Петербурга уполномоченный от «Земли и воли»⁵⁷. Он с негодованием рассказывал, как поляки, пригласившие его в Варшаву, ничего не сделали. Он был первый русский, видевший начало восстания. Он рассказал об убийстве солдат, о раненом офицере, который был членом общества. Солдаты думали, что это предательство, и начали с ожесточением бить поляков. Падлевский — главный начальник в Ковно⁵⁸ — рвал волосы... но боялся явно выступить против своих.

Уполномоченный был полон важности своей миссии и пригласил нас сделаться *агентами* общества «Земли и воли». Я отклонил это, к крайнему удивлению не только Бакунина, но и Огарева... Я сказал, что мне не нравится это битое французское название. Уполномоченный трактовал нас так, как комиссары Конвента

1793 трактовали генералов в дальних армиях. Мне и это не понравилось.

— А много вас? — спросил я.

— Это трудно сказать... несколько сот человек в Петербурге и *тысячи три* в провинциях.

— Ты веришь? — спросил я потом Огарева.

Он промолчал.

— Ты веришь? — спросил я Бакунина.

— Конечно, *он* прибавил... ну, *нет теперь столько, так будут потом!* — И он расхохотался.

— Это другое дело.

— В том-то все и состоит, чтоб поддержать слабые начинания; если б они были крепки, они и не нуждались бы в нас... — заметил Огарев, в этих случаях всегда недовольный моим скептицизмом.

— Они так и должны бы были явиться перед нами — откровенно слабыми... желающими дружеской помощи, а не предлагать глупое агентство.

— Это молодость... — прибавил Бакунин и уехал в Швецию.

А вслед за ним уехал и Потебня. Удручительно горестно я простился с ним — я ни одной секунды не сомневался, что он прямо идет на гибель⁵⁹.

* * *

...За несколько дней до отъезда Бакунина пришел Мартьянов⁶⁰, бледнее обыкновенного, печальнее обыкновенного; он сел в углу и молчал. Он страдал по России и носился с мыслью о возвращении домой. Шел спор о восстании. Мартьянов слушал молча, потом встал, собрался идти и вдруг, остановившись передо мной, мрачно сказал мне:

— Вы не сердитесь на меня, Александр Иванович, — так ли, иначе ли, а «Колокол»-то вы порешили. Что вам за дело мешаться в польские дела... Поляки, может, и правы, но их дело шляхетское — не ваше. Не пожалели вы нас, бог с вами, Александр Иванович. Попомните, что я говорил. Я-то сам не увижу — я ворочусь домой. Здесь мне нечего делать.

— Ни вы не поедете в Россию, ни «Колокол» не погиб, — ответил я ему.

Он молча ушел, оставляя меня под тяжелым гнетом второго пророчества и какого-то темного сознания, что что-то ошибочное сделано.

Мартьянов как сказал, так и сделал: он воротился весной 1863 года и пошел умирать на каторгу, сосланный своим «земским царем» за любовь к России, за веру в него.

К концу 1863 года расход «Колокола» с 2500, 2000 сошел на 500 и ни разу не подымался далее 1000 экземпляров.

Шарлотта Корде⁶¹ из Орла и Даниил из крестьян *были правы!*⁶²
(Пис<ано> в конце 1865 в Montreux и Лозанне)

